

DOI: 10.31860/0131-6095-2023-1-141-152

© Б. А. Максимов

**«И РОДНОЙ ОТЕЦ — ВРАГ МНЕ»:
О ПРИРОДЕ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
В «МАЛОРОССИЙСКИХ» ЦИКЛАХ Н. В. ГОГОЛЯ**

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в исследовании гоголевского нарратива на рубеже XX и XXI веков,¹ типология конфликтов, характеризующих прозу и драматургию Гоголя, остается делом будущего. Даже применительно к повестям начала 1830-х годов, в которых конфликт выражен, казалось бы, наиболее эксплицитно, вопрос о противоречиях и невольных сходствах противоборствующих сторон продолжает сохранять актуальность. В настоящей работе мы ставили перед собой задачу наметить контуры «магистрального», сквозного конфликта в «малороссийских» циклах Гоголя, не претендуя, разумеется, на исчерпывающую полноту описания. Для этого прежде всего необходимо было дифференцировать конфликтные партии, очертить их интересы (особое внимание уделив мотивации «антагонистов») и проследить динамику конфликта, учитывая, в частности, различие между предварительным и финальным испытанием героя. Систематическое описание конфликта не является, на наш взгляд, сугубо формальной задачей: оно высвечивает логику сюжетного развития и, следовательно, задает границы содержательных интерпретаций.

Как можно заметить, для ранней прозы Гоголя не характерна была классическая антитеза «древности» и «молодости». Создатель «Вечеров» и «Миргорода», наследуя историческим концепциям Руссо, Гердера, Шиллера, ассоциирует ранний этап культурной эпохи с юностью: в Запорожской сечи «слишком старых не было» и каждый казак желал бы, «чтобы вся жизнь его была молодость». Героическую «древность», т. е. эпоху отцов-основателей (XVI и XVII века, отображенные в «Гетьмане» и «Тарасе Бульбе»), Гоголь воспринимал прежде всего как период сложения этноса: в индивидуальном масштабе с ней коррелировала пора юности, которая подготавливает и формирует новый брачный союз.

Стадиальные параллели между «праотцами» и парубками новых (екатерининских, александровских, николаевских) времен основываются на глубоком типологическом родстве. В частности, мобильность юношей, их рискованные вояжи за пределы обытовленного, domesticiрованного мира заставляют вспомнить кочевой образ жизни казацких патриархов. Молодые столь же открыты и прямодушны, как запорожцы старой формации (поэтому, упрекая своего тестя в скрытности, пан Данило апеллирует к традиции: «Не хотел выпить за козацкую волю! <...> Козацкие сердца когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу!»²). На юношеских сходках возрождается общинный дух казацкого братства, древний обычай разделять веселье, горе и достаток, заповеданный былинными праотцами — такими, как Иван и Петро. Парубки *толкоу* гуляют, бузят и заигрывают с дівчатами («все действия — скопом, враз, заодно»,³ как заметил еще Андрей Белый): «целая ватага» молодцов прощается с Ганной, за Оксаною деревенские парни «гонялись <...> толпами», ее «гуртом провозгласили» первой красавицей (1, 116, 153). Вообще «молодые» в украинских повестях слабо индивидуализированы: и Грицко, один из «толпы парубков», «одетый щеголеватее прочих», и Петрусь, который в праздничном наряде «заткнул бы за пояс всех парубков», и Оксана, признанная «лучшей девкой» на селе, и «чернобровый козак» Левко, и Ганна, и Данило (1, 76, 102, 113, 116, 153) — даются нам не как самобытные

¹ Особое значение для исследуемой темы имеют труды С. А. Гончарова, М. Я. Вайскопфа, А. И. Иваницкого, А. Х. Гольденберга, Е. В. Кардаш и, разумеется, Ю. В. Манна, а также антропологические изыскания Л. В. Карасева и В. А. Подороги о гоголевской топике.

² Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 23 т. М., 2003. Т. 1. С. 189. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно, с указанием номера тома и страницы арабскими цифрами.

³ Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование. М., 1996. С. 61.

характеры, но как образцовые представители казачества, как «герои нашего (или не нашего) племени», если воспользоваться формулой А. Д. Синявского.⁴ Каждый из них — *primus inter pares*, прочно спаянный с родовым «телом».

По мысли Гоголя, ритуализованная «гульба» парубков воскрешает славное, героическое прошлое («Гуляй, козацкая голова! <...> Как начнешь беситься — чудится, будто поминаешь давние годы»; 1, 121). В буйных забавах молодежи отзывается воинственный пыл «дедов», отблеск прошлого, можно сказать, романтизирует семинарские битвы, опустошительные набеги бурсаков на чужой огород, карнавальные потасовки, во время которых противника «обстреливают» (Хивря, Голова), захватывают в плен (Черевик, свояченица), побивают (Чуб, Тарас Бульба, старуха в «Вие»). Одним словом, заря индивидуальной жизни во многих отношениях воспроизводит раннюю стадию народной, племенной судьбы. При реконструкции конфликта в малороссийских повестях крайне важно будет учитывать неразрывную связь «праотцов» с внуками, которым не без причины «чудится <...> как будто залез в прадедовскую душу или прадедовская душа шалит в тебе» (1, 136).⁵

Если героических предков и беспокойную молодежь Гоголь соотносил с эпохой становления, формообразования, то средний возраст в украинских повестях репрезентирует зрелую стадию культуры, «великий полдень», противопоставленный «зарю» в качестве антитезиса. От былинного прошлого его отделила историческая цезура: отгремели войны, прекратились разорительные набеги турок, татар и поляков, мир и политическая стабилизация были оплачены вассальным статусом аграрной провинции, Малороссийской губернии. Говоря иносказательно, мы наблюдаем закономерный переход от военной демократии — к Птолемеям или Антонинам, от эсхилловской трагедии — к пасторалям Феокрита и Лонга. Казаки, как и провидел Тарас Бульба, из «лыцарей» сделались «гречкосеями, домоводами», оставив в прошлом кочевую, разгульную жизнь, патриархальные идеалы воинской доблести и боевого братства.⁶ В новом мире процветают земледелие и торговля, умножается ценность дома, надела и личного имущества, а следовательно, и власть женщины.

Может показаться, что после турбулентной героической эпохи настал новый Золотой век — изобильный и самодостаточный. Однако самодостаточность малороссийского Эдема имеет, по мысли Гоголя, свои издержки. Прежде всего, она чревата забыванием, забвением родовых традиций, которое Гоголь инкриминирует поколению отцов. Разительный пример отцовского отступничества явлен в «Страшной мести», с колдуном сближается образ неблагочестивого сотника, чья церковь заросла мхом и почернела. Даже Товстогубы, несмотря на их бытовой консерватизм, не любят поминать прошлое, как и Сторченко, имеющий на то меркантильные причины. С другой стороны, среднее поколение на Диканьке и в Миргороде остается на удивление безучастным к судьбам потомков. Для поздней, обывательской вариации малороссийского сюжета, в которой отсутствует эксплицитный межпоколенческий конфликт, характерны такие симптомы отчуждения, как бездетность (чета Товстогубов, Иван Никифорович, Сторченко) и отрицание отцовства (Иван Иванович). В более ранних «Вечерах», к которым тематически примыкает «Вий», родительская генерация пред-

⁴ Терц А. (Синявский А. Д.). Собр. соч.: В 2 т. М., 1992. Т. 2. С. 263.

⁵ О характерном для прозы раннего Гоголя (и в целом — для малороссийской культуры его времени) ощущении живой, нутряной связи потомков с «дедами» см.: Гольденберг А. Х. Архетипы в поэтике Н. В. Гоголя: монография. М., 2014. С. 16. По выражению Белого, герои «Вечеров» своим «сознанием <...> створены с чревом деда, ставшим давно землею в земле» (Белый А. Мастерство Гоголя. С. 60). Обратим внимание, что в основе «гоголевского традиционализма» (Терц А. (Синявский А. Д.). Собр. соч. Т. 2. С. 263) лежит не ближняя, семейная (родители/дети), а дальняя, родовая преемственность (прародители/потомки).

⁶ Исторические предпосылки этой трансформации подробно изложены в работе Л. И. Гаджиевой. Гоголь, пишет она, отобразил «период, когда Запорожье утрачивает былую силу, мощь, влияние, когда героическое казачество катится к своему закату, а в настоящем все больше утверждается казачество мирное, оседлое», т. е. «мелкопоместное, свободное от ратной службы» (Гаджиева Л. И. Мир казачества в изображении Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, М. А. Шолохова. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2007. С. 10).

ставлена злокозненными матерями и мачехами (Хивря, жена сотника в «Майской ночи», Солоха) и эгоистичными, своенравными отцами (Голова, Корж, Чуб, колдун в «Страшной мести», сотник в «Майской ночи»). Всем им, за редкими исключениями, Гоголь отводит роль агрессоров, что дало исследователям повод говорить о демонизации отцов и матерей в раннем творчестве писателя.⁷

Как правило, межпоколенческий конфликт эскалирует в поворотных точках земледельческого (лунного, солярного) календаря — в дни праздников (Рождество, Иван Купала, Зеленые святки в «Майской ночи»), вакаций и ярмарок. В семейной жизни период межвременья наступает накануне свадьбы, когда «молодые» достигли лиминального возраста⁸ — они уже не дети, но еще не родители, уже не питомцы, но еще не полновластные хозяева — и встает вопрос о наследовании. Такова необходимая, но вместе с тем недостаточная предпосылка конфликта. Поскольку «природа» обновляется циклически, ей и ее творениям не грозит окончательная, абсолютная смерть («the Poetry of earth is never dead», если вспомнить Китса). Не бояться старости и смерти Тарас Бульба или Касьян Бовдюг, запорожские казаки героической эпохи, явственно ощущающие свою кровную связь с казацким племенем. Благочестивому отцу радостно наблюдать, как дух предков возрождается в сыновьях («...ей-ей, будет добрый полковник, да еще такой, что и батька за пояс заткнет!»⁹). Мужеподобной великанше Василисе Кашпоровне, прямой наследнице запорожских атаманов, не терпится «увидеть скорее своего племянника женатым и понянчить маленьких внучков» (1, 235). Как любящая мать, она радуется тому, что ее чадо созрело для брака, в котором она видит залог родительского бессмертия, «ведь свадьба, — как справедливо заметил Ю. В. Манн, — указание на продолжающуюся жизнь, ее новую ступень, новый узел в вечно текущем и неостановимом общем потоке».¹⁰ Коротко говоря, родителям, которые мыслят себя ступенью в родовой эволюции, не страшны физическое угасание и смерть.

Более драматично приближение собственной старости и брачные планы своих отпрысков воспринимают родители новой формации — выделившиеся из «рода», самодостаточные, беспамятные. Для них очередной виток родовой истории, отмеченный свадьбой и рождением внуков, равносильен аннигиляции. Угрозу эту осознает и Солоха, уверенная, что Вакула бы после женитьбы «наверно не допустил ее мешаться ни во что» (1, 157), и Пульхерия Ивановна, которую смертельно напугали амурные похождения домашней кошечки («неблагодарная», вступив в опасный возраст, «набралась романтических правил» (II, 30) и вырвалась из-под родительской опеки).¹¹ Действительно, формирование молодой семьи завершает «великий полдень», продуктивный цикл среднего поколения, и ставит вопрос о наследовании. Между тем эгоцентрический родитель не готов отказаться от своего полнокровного, зрелого бытия, не согласен доживать «остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие из старых очей <...>, тогда как враг <...> будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым

⁷ Так, С. А. Гончаров соотносит злокозненных отцов и «лже-матерей» у Гоголя с «гностицистскими архонтами», с «инфернальной сферой и „чужим“ миром» (Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997. С. 22, 38), сходной точки зрения придерживается Вайскопф (Вайскопф М. Я. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 2002. С. 172–173).

⁸ О лиминальном и, соответственно, нечистом и уязвимом статусе молодоженов в фольклоре см.: Гольденберг А. Х. Архетипы в поэтике Н. В. Гоголя. С. 268.

⁹ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. [Б. м.], 1937. Т. 2. С. 85. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно, с указанием номера тома римской и страницы арабской цифрой.

¹⁰ Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1988. С. 10. К той же — фольклорной, обрядовой — логике апеллирует Кардаш, отмечая, что «нормальный „свадебный“ сюжет предусматривает не разрушение, но „пересоздание“ соединяющих поколения связей» и «служит залогом торжества человеческого рода над ограниченностью его бытия во времени» (Кардаш Е. В. Образная структура «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в контексте романтической историософии и эстетики. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2006. С. 5).

¹¹ М. Н. Виролайнен совершенно справедливо заметила, что «носителем перемен», разрушающих «ахронный» мир Товстогузов, «становится брачный сюжет» (Виролайнен М. Н. Брачные союзы в мире Гоголя // Nel Mondo di Gogol' / В мире Гоголя. Roma, 2012. С. 265).

старцем» (II, 198). Своекорыстных родителей не заботит вопрос о продолжении рода и наследовании, они живут настоящим и продлевают благословенный «полдень»¹² — за чужой счет. Отказываясь делегировать власть и имущество наследникам, они обездоливают молодых и расстраивают любовные альянсы. Заметим: речь не идет о принуждении молодых к безлюбовному «браку по расчету», как это было в классической комедии или мещанской драме. У Гоголя и Хивря, которая не соглашалась выводить восемнадцатилетнюю Параську в люди и бранила мужа за попытки сосватать падчерицу, и Солоха, которая сеет раздор между женихом и его будущим тестем, и Голова, который притворяется глухим, стоит его сыну заговорить о женитьбе, — оспаривают само право молодых на создание семьи и продолжение рода.

Причины родительского упрямства коренятся в противоестественной «брачной» конкуренции между поколениями. Ее разжигает не только Голова, привыкший «шататься под окнами молодых девушек» и «отбивать чужих невест» (I, 120): Солоха и Чуб также строят матримониальные планы в ущерб своим детям (Оксана не без оснований противопоставила брачные амбиции Вакулы и Чуба: «Видишь, какой ты! только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери!»; I, 156). Вероятно, об издержках отцовского брака догадывалась и юная панночка в «Майской ночи», безбрачной и бездетной сошедшая в могилу.¹³ В «Сорочинской ярмарке» «брачное» соперничество между мачехой и падчерицей принимает гротескные формы: Хивря не желает выводить падчерицу «в свет» и противится заключению помолвки, сама же любезничает с ухажерами, что подобало бы молодежи (но не зрелой матроне). Еще более очевидны параллели между кокетливой Оксаной и Солохой, которая «любила видеть волочившуюся за собой толпу» и «причаровывала к себе самых степенных козак» (I, 162, 157). Наиболее отчетливо подмена молодого жениха или новобрачного родительской фигурой прослеживается в «Майской ночи» и «Страшной мести», где властный отец (Голова) или тесть (колдун) устранил молодого соперника, дабы занять его место (показательно, что колдун, сватаясь к Катерине, молодится и объявляет себя названным братом, правопреемником ее убитого мужа).

Итак, стареющие родители жертвуют будущностью своих потомков — детей и нерожденных внучат: подобно вилланам сентименталистского готического романа, они узурпируют права наследников, «крадут» чужую свадьбу, надеясь возродиться в новом браке. Не без причины типического гоголевского *отца* — овдовевшего казака средних лет — привлекают молодые девушки: рядом с ними у патриарха открывается второе дыхание, клонящаяся к закату жизнь словно бы черпает силу у цветущей молодости («Боже, как летит время! уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел <...> Гапка, девка здоровая, ходит в запаске, с свежими икрами и щеками»; II, 224). В «Вие» экзотическая связь с дочерью, по-видимому, поддерживала силы сотника, разменявшего пятый десяток; оставшись один, он дряхлеет и увядает: «...глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг, в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезли навеки» (II, 196). Заметим, что инцестуальность, на которую не раз указывали исследователи,¹⁴

¹² Карасев видит «трагедию гоголевских персонажей в том, что они целиком принадлежат жизни, полностью игнорируя и то состояние, которое ей предшествовало, и то состояние, которое может последовать за ней» (Карасев Л. В. Гоголь в тексте. М., 2012. С. 23). Разделяя эту позицию, мы, вместе с тем, не спешили бы уравнивать автора с персонажами и заключать, что сам Гоголь, «держась центра, боится периферии: он не хочет смотреть ни в сторону старости и смерти, ни в сторону детства и особенно рождения» (Там же. С. 22).

¹³ Успокаивая дочь, отец обещает подарить ей украшения — т. е. приманки для будущего жениха (ср. в «Ночи перед Рождеством»: «...у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! <...> Все это накопил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!»; I, 154).

¹⁴ С. А. Гончаров прослеживает инцестуальные мотивы не только в «Страшной мести», но «практически во всех любовных сюжетах „Вечеров“, мотивируя это стремлением гоголевских „отцов“ к инцестуальному замещению возлюбленного (в любовном треугольнике. — Б. М.) и узурпации его прав» (Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. С. 39). См. также: Кардаш Е. В. Образная структура... С. 13.

выражается у Гоголя главным образом не в кровосмесительстве, а в нарушении возрастной субординации. Поэтому его, с одной стороны, не привлекал популярный в сентименталистско-романтическую эпоху топос «преступной» связи брата и сестры, с другой стороны, он демонизирует сексуальную агрессию «старших» независимо от того, имеет ли она кровосмесительный оттенок: отец Катерины, сотник из «Вия» уравниваются в этом отношении с Головой и «бабусей», оседлавшей Хому.

Особого внимания заслуживает асимметрия отцовской и материнской «вины» в малороссийских повестях. В патриархальном мире Диканьки и Миргорода зачинщиком раздора, нарушителем гармонии выступает эгоистичный отец, в то время как мать, даже фуриозная, в конечном счете представлена фигурой страдательной. С натурфилософской точки зрения отцы-захватчики повинны в том, что предпочли эволюционному пути, трансформации — буквальный повтор:¹⁵ достигнув зенита, они «монополизируют» женскую привязанность, обращают репродуктивную энергию природы себе на пользу, тем самым отказывая женщинам в материнстве. Самые радикальные формы отцовский эгоцентризм принимает в «Страшной мести» — колдун не останавливается перед убийством собственного внука, дабы безраздельно владеть душой Катерины. В свою очередь, прежней, *старой* супруге также не суждено растить детей и нянчить внуков: ею пренебрегают, видя в ней бесполезную обузу («...и под боком моя старуха, как белым в глазу», «а для чего она мне? <...> Стара як бис»; 1, 102, 123), ее вычеркивают из памяти (весьма характерно, что молодящиеся «вдовцы» — сотник в «Майской ночи» и в «Вие», Голова, Чуб, Иван Иванович, колдун из «Страшной мести» — никогда не вспоминают о почивших супругах) или превращают в хозяйственную машину: «Голова вдов; но у него живет в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать, моет лавки, белит хату, прядет ему на рубашки и заведывает всем домом»; 1, 119).

Касаясь пресловутой *мизогинии* Гоголя, мы должны сделать существенную оговорку: вопреки распространенному мнению, он не демонизировал в своем раннем творчестве женскую натуру *per se*,¹⁶ — бесовский ореол у него получает лишь женщина, отлученная от материнства. Проследить превращение юной «голубки» в «ведьму» можно на примере Катерины, которая, потеряв ребенка, «не молится и бежит от людей» в ночной лес, к губительным для «крещеного человека» русалкам (чьи «уста чудно усмеваются, щеки пылают, очи выманивают душу»; 1, 210) и загорается мстью к отцу. Ее бессвязная речь и судорожная пластика («С визгом притопывала она ногами <...> Как птица, не останавливаясь, летела она, размахивая руками и кивая головой»; 1, 209), несомненно, предвосхищают полеты и заклинания одержимой панночки в «Вие». Подобно античной Ламии, «ведьма» мстит сильному полу за свое несостоявшееся материнство: она изнуряет своих любовников, лишает их фертильности (поддавшийся панночкиным чарам псарь Микитка «обабился совсем») и насыщается детской кровью, инвертируя материнское кормление младенца. Сходную метаморфозу переживают у Гоголя обездоленные

¹⁵ Представляется значимым для всех «украинских» повестей вывод, который Кардаш сделала применительно к «Страшной мести»: у раннего Гоголя несчастья связаны «не с ситуацией „двойничества“ поколений как таковой, но с буквальным, не „метафорическим“ способом ее сюжетного осуществления» (Кардаш Е. В. Образная структура... С. 14).

¹⁶ Трудно согласиться, например, с радикальными выводами Подороги о том, что физическая близость с женщиной «оказывается для Гоголя абсолютной катастрофой», ибо «женское начало» — это «лишь способ, каким ведьмы захватывают христианские души» (Подорога В. А. Nature Morte. Строй произведения и литература Н. Гоголя. М., 2018. С. 183, 191). Едва ли эти оценки применимы к Параске, Ганне, (влюбленной) Оксане, императрице Екатерине, Пидорке, Гапке; они требуют существенных оговорок в случае Катерины (в «Страшной мести») и Пульхерии Ивановны. Также требует, на наш взгляд, релятивации заключение Иваницкого о «подтексте» «брака как утраты человеческой (мужской) суверенности и исчезновения в земле» (Иваницкий А. И. Гоголь. Морфология земли и власти (К вопросу о культурно-исторических основах подсознательного). М., 2000. С. 42). Нет достаточных оснований полагать, что в патриархальном мире украинских повестей вдовый (Голова, Корж, колдун в «Страшной мести», сотник в «Вие») или женатый казак (Тарас Бульба, Данило, «дед» в «Пропавшей грамоте», даже Шептун или винокур), а также молодой жених (Грицко, Левко, Вакула) *вследствие* брака закономерно утрачивает «мужскую суверенность».

жены. В малороссийских повестях выведена обширная галерея сварливых, бесноватых «супружниц» вроде Хиври, ткачихи, кумовой жены, свояченицы, Агафьи Федосеевны — той самой, что «откусила ухо у заседателя», дьячихи, которая «страшной рукою своею» проредила косицу своего благоверного. По мысли писателя, стареющая матрона, востребованная лишь в своей хозяйственной (но не попечительской, материнской) ипостаси, превращается в злобную, властную фурию, которая изводит мужа, обходясь с ним как с неразумным младенцем (вероятно, и здесь совершается инверсия материнства). Иными словами, первопричиной конфликта служит двойное грехопадение отцов. Во-первых, среднее поколение отрывается от родовых «корней», предает забвению бурную молодость — как в историческом (этническом), так и в семейном масштабе. Во-вторых, отцы стремятся узурпировать репродуктивную энергию природы и использовать ее для поддержания *status quo*, вследствие чего материнский инстинкт, не участвуя в родовой эволюции, принимает извращенные, деструктивные формы.

Отсюда берет начало пагубный «беспорядок природы», угрожающий не только молодому поколению, но и судьбам всего казачества. О прогрессирующей энтропии у Гоголя красноречиво говорит анимализация человеческого мира: животные метафоры господствуют в описании Головы, уподобляемого коту, коршуну, медведю, в изображении оскотинившихся дворовых людей сотника в «Вие», в перепалке двух Иванов («поцелуйтесь с своею свиньею», «что вы так раскудахтались», «настоящий гусак»; II, 236, 237). Молодого Гоголя более всего тревожила не перспектива морального «одичания», а структурная деградация — упрощение антропоморфных форм и связей. В животном царстве всеобщим эквивалентом служит еда, все переводится на «утробный» язык, жизнедеятельность ограничена процессами поглощения и переваривания пищи (многих гоголевских персонажей без преувеличения можно было бы назвать рабами желудка: Товстогузов, Чуба, обоих Иванов, Сторченко, Хому). Флирт (у среднего поколения, но не у молодежи!) в украинских повестях также всецело подчиняется гастрономическому дискурсу: попovich, начав беседу с перечисления продовольственных «даров» батюшке, требует от хозяйки «кушанья послаще всех пампушечек» и, наконец, «держа в одной руке вареник», другой обнимает «широкий стан» Хиври (I, 86). Солоха приманивает казаков не женскими чарами (ее гостям «мало было нужды до красоты»), а обещанием тепла и сытости («...как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе» с хозяйкой; I, 157).

Как мы помним, чревоугодникам в доме малороссийской Цирцеи грозило карнавальное «превращение» в рождественских «кабанов», которое Гоголь ассоциировал с женской стряпней также в «Вие» (прожорливые слуги сотника — «настоящие толстые кабаны» (II, 202) — кормятся с женских рук) и в эпилоге «Заколдованного места» («...опарила! как будто свинью перед Рождеством!»; I, 245). Чем более зависим мужчина от материальных благ (от еды, утвари, одежды), чем сильнее он привязан к физическому миру, тем большую власть над ним забирает женская, материальная стихия (на языке Гоголя это значит: обабиться, дать женщине «оседлать» себя). Гегемония телесности таит в себе угрозу онемения, безвольной апатии, симптомы которых проступают у современных, domesticированных казаков (Чуба и, особенно, кума, Хома и его «охранников», Халявы, Шпоньки, Ивана Никифоровича). Апогеем этого процесса становятся летаргия сотника, который, затворившись в своей светлице, обрел «какую-то каменную неподвижность» (II, 212), глубокий, беспробудный сон его челяди, сонливость, охватывающая даже случайного гостя в доме Товстогузов, где дремлют все, от дворовых девок до комнатного мальчика, который «если не ел, то уж верно спал» (II, 19).

По мере того, как угасает энергия молодости, в «полуденном» мире усиливаются центробежные тенденции. Кажется, будто в домашней утвари, снеди, скотине (жареном баране, подмигивающем едокам, танцующем тесте, скалящем зубы коне, в свинье, похитившей прошение Довгочхуна) пробудилась стихийная инициатива. Телесные органы и конечности также обретают в самих себе *primus movens*: достаточно вспомнить «самоуправство» судейского носа, произвольно понюхавшего верхнюю губу, или безотчетную пляску, которую «затеяли» ноги в «Пропавшей грамоте». Подчас материя — трактованная на барочный манер, вздыбленная или расплзающаяся

ся — прорывает или деформирует наружную оболочку (это заметно в описании внешности Ивана Никифоровича, Григория Сторченки, колдуна в «Страшной мести»), либо в телесном целом обнаруживается зияние на месте беглого, «выпавшего» звена (одноглазый Голова, галерея увечных обитателей Миргорода в повести о двух Иванях).

Динамику вырождения ярко иллюстрирует запущенный сад в имении сотника, соединивший в себе ключевые «энтропийные» мотивы: одичание (о котором вопиют зарастающие дороги и вытесненные сорняками плодовые культуры), диссоциацию (деревья опутывает рыхлая сеть, побеги которой самопроизвольно ветвятся) и оцепенение (в разросшемся бурьяне «коса разлетелась бы вдребезги, если захотела коснуться лезвием своим одеребеневших толстых стеблей его»; II, 214).¹⁷ По большому счету, природный «беспорядок» зеркально отражает обиды, нанесенные героическим предкам и матерям отцами-захватчиками: узурпаторы со временем деградируют до животного или младенческого состояния, впадают в спячку, утрачивают контроль над материальным миром, а также репродуктивную энергию, фертильность; им уготовано бесследное исчезновение. С этой точки зрения, поучительно сопоставить финалы двух смежных, парных повестей миргородского цикла — «Старосветских помещиков» и «Тараса Бульбы». Тарас, свирепый, но радетельный и верный традициям отец, погибает в сознании собственной силы, в свой смертный час он провидит будущее, его прощальные напутствия «были услышаны козаками». Афанасий Иванович, живущий исключительно настоящим (в отсутствии детей «вся привязанность (Товстогузов. — Б. М.) сосредоточивалась на них же самих»), истает, «как свечка», покоряется неизбежности «с волею послушного ребенка» (II, 15, 37), его наследство, раздробленное и разграбленное, в скором времени обращается в прах.

Если завязку интриги в малороссийских повестях образует противоестественная экспансия родителей, влекущая за собой деградацию «отцовского» мира, то ключевую роль в развитии и разрешении конфликта Гоголь делегирует обездоленному наследнику (и потенциальному жениху), который восстает против узурпаторов. Его успехам благоприятствует карнавальная пора — дни праздников, вакаций, ярмарок, которыми означены рубежи земледельческих (изначально — солярных и лунных) циклов. В лиминальный период убывают силы патриархов, размыкаются границы персональной идентичности, упраздняется социальная и возрастная иерархия. Нет ничего удивительного в том, что Грицко атаковал «злую мачеху» Параськи в ярмарочный день на мосту, в пограничном локусе, где «люди, возы с горшками, мельницы — все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами» (I, 76); характерно, что и бунтующая против мачехино гнета Параська пустилась в пляс с зеркалом в руках, «видя под собою, вместо полу, потолок» (I, 96). На Зеленые святки парубки, ряженые в чертей, могут безнаказанно глумиться над Головой, Чуб в рождественскую ночь на пороге собственного дома терпит побои от кузнеца, и по заслугам: статус его обесценила карнавальная пора, а колядовать Чуб не научился. Первоначально бунт жениха против родителей-захватчиков выражается в двух типических жестах вертепной комедии — поношении и потасовке, — в «побоях и развенчаниях», которым Бахтин отводил «громадную роль» в карнавальном действе.¹⁸ Гиперболизируя почтенный возраст родительского поколения (Хивря — «столетняя ведьма», Голова — «стар, как бес»), молодежь поднимает на смех несообразные летам брачные амбиции: «Жметесь к девкам... Дурень, дурень! / И тебе лезть к парубкам!» (I, 125; ср. иронические ремарки молодых казаков в «Вие»: «только нет, голубушка! устарела» (II, 185), в «Вечере накануне Ивана Купала»: «Славная красавица! — подумал Петро»; I, 105). По той же причине пан Данило оскорбляет тестя — старика, явившегося «убирать» не им «засеянное жито» (т. е. покусившегося на супружеские права; I, 190).

¹⁷ Ср. тезис Иваницкого о том, что гипертрофия телесного у Гоголя «таит опасность деления и бесконечного олицетворения частей — и отсюда или поглощения земель, или необратимого и безостаточного раздробления <...> в то же время самодостаточность тела таит и опасность омертвения и „превращения в плоть“» (Иваницкий А. И. Гоголь. С. 161).

¹⁸ Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 2014. С. 688.

Обыкновенно перебранка завершается потасовкой, которая позволяет наследнику продемонстрировать свою физическую зрелость, свое силовое превосходство над родителями (бескорыстный отец — Тарас Бульба — в отличие от узурпаторов, намеренно провоцирует *шутейную* стычку с сыновьями, в которой Бахтин узнавал «„утопические туманы“ сатурналий»¹⁹). Помимо мускульной энергии, инвестированной в метание камня или кома глины, в тумачи и палочные удары, потасовка выявляет лидерские качества молодого героя. Оседлав неумную «бабусю», взнуздав и поставив себе на службу черта, молодой герой в буквальном смысле слова берет верх над старшими (ср. отповедь Данилы тестю: «...я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне»; 1, 190). В ранних повестях «диканьского» цикла молодые, пользуясь карнавальными свободами, низвергают (на землю, в подвал) или захватывают в плен родительскую фигуру — Черевика, Хиврю, свояченицу.

Выше мы рассмотрели предварительное — игровое, карнавальное — испытание, своеобразную пробу сил, которая оспаривает, но не упраздняет родительскую власть. Чтобы одержать прочную, окончательную победу, требуется апелляция к предкам,²⁰ оправданная не только стадийным родством дедов и внуков, о котором уже говорилось, но и общностью интересов. Действительно, «деды» и «внуки» руководствуются интересами рода: в отличие от самодостаточной родительской генерации, они равно заинтересованы в его продолжении. При конфликте родителю-патриарху, замещающему сакрализованного всеотца («От кого же и голова поставлен, как не от царя?»; 1, 127), может быть противопоставлен лишь авторитет самих обожествляемых пращуров, основателей рода: пред ними среднее и младшее поколение уравниваются в правах. Позволю себе оставить за скобками промежуточные стадии паломничества к пращурам, подробно описанные в монументальном труде М. Я. Вайскопфа,²¹ и ограничиться суммарным выводом: призывая на помощь мертвецов, молодой герой выходит за пределы привычного, доместифицированного мира и подвергает свою жизнь опасности. Для наших целей полезнее будет сосредоточить внимание на динамике основного, финального испытания, которое даже отдаленно не напоминает сказочный «бой» — спортивный, силовой поединок. Скорее, юному герою предстоит выдержать экзамен, имеющий отчетливые брачно-эротические коннотации. Соответственно, в роли экзаменатора выступает женское божество, праматерь, в то время как грозные пращуры (и послушные их воле отцы) осуществляют функцию судебных исполнителей, заверяющих положительный или отрицательный исход. Например, в «Майской ночи» Левко, выполнив просьбу русалки, получает своеобразный аттестат зрелости, подписанный царским наместником, комиссаром, чьей воле повинуются Голова; Чуб дает согласие на свадьбу, убедившись, что Вакула не ударил в грязь лицом перед императрицей. Этому правилу подчиняются и трагические развязки украинских повестей: того, кто не выдержал испытания, карает архаический праотец (Вий, Тарас Бульба). Сама кара является закономерным следствием фатальной ошибки, совершенной героем в ходе испытания.

Парадигматической моделью «брачного» испытания, вероятно, могла бы послужить сцена у пруда из «Майской ночи», в которой молодой жених исторгает ведьму (темное, агрессивное начало) из круга русалок, фактически совершив обряд экзорцизма — «христианское дело», непосильное для Хомя, которому наказано было «изгнать всякое дурное помышление» из «голубки» (II, 212). В обоих случаях определяющую

¹⁹ Там же. С. 690.

²⁰ А. Д. Синявский объяснял обращение к подземному миру «гилозоизмом» Гоголя, пониманием «земли-могилы» и «следом за нею — царства мертвых» как «всемирной житницы», откуда «исходят соки, тянутся корни — в вещественное умножение, в рост» (Терц А. (Синявский А. Д.). Собр. соч. Т. 2. С. 250). О посредничестве демонизированных, подземных предков в матримониальных делах см. также: Виролайн М. Н. Брачные союзы в мире Гоголя. С. 266; Егорова С. О. Эволюция эсхатологических мотивов в творчестве Н. В. Гоголя. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2018. С. 9; Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. С. 30.

²¹ См.: Вайскопф М. Я. Сюжет Гоголя. С. 113–130.

роль играет расслоение образа богини, праматери, явленной в двух ипостасях: старухи-ведьмы и царицы, за которой в свою очередь угадывается лик молодой невесты. Начиная от «Вечера накануне Ивана Купала», где крайние фланги женского образа (ведьма и богородица) были опосредованы знахарством/целительством, раздвоение богини-испытательницы становится лейтмотивом украинских повестей: достаточно вспомнить русалку и мачеху в «Майской ночи», главную ведьму и царицу в «Пропавшей грамоте», Солоху и царицу в «Ночи перед Рождеством», старуху-татарку и дочь воеводы в «Тарасе Бульбе», дневную и «ночную» ипостась Василисы Кашпоровны, единую в двух лицах панночку в «Вие». На наш взгляд, осцилляция между двумя полюсами женского образа — злокозненной ведьмой и заботливой царицей — указывает на основополагающую для малороссийских повестей проблему: смешение материнских и брачных амбиций. Неразличимость этих импульсов, собственно, и превращает «царицу» в «ведьму» (ибо ведьма, в глазах Гоголя, — это царица, обуянная эротической агрессией), а также предопределяет амбивалентный статус молодого героя — потомка и жениха.

Впервые популярный в европейском предромантизме и романтизме «готический» мотив загробного брака с женским божеством прозвучал у Гоголя в «Вечере накануне Ивана Купала» («Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица: делай все, что ни прикажет...»; 1, 105). Помимо «Майской ночи»,²² он отозвался в «Пропавшей грамоте», где старшая, самая красивая, ведьма, надеясь затащить в ад молодого казака, берется за карты, «замасленные, какими <...> у нас поповны гадают про женихов» (1, 142). Аудиенция у Екатерины (матери народов: запорожцы именуют ее не иначе, как «мамо») также пронизана брачно-эротическими аллюзиями: здесь о фаворитизме напоминают куртуазные комплименты царице, гордящейся своими «стройными и прелестными ножками», ее внимание к Вакуле, который «в своем запорожском платье мог почестись красавцем», деятельное участие Потемкина (1, 180). В «польском» эпизоде «Тараса Бульбы» контаминация образов матери и возлюбленной, намеченная уже в «Майской ночи», выражена эксплицитно («Царица! — вскрикнул Андрий <...> чего ты хочешь? прикажи мне! <...> погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко»; II, 103). Именно из хаотической нераздельности женских ролей, из пагубного «беспорядка природы» проистекает миссия молодого жениха: он призван разделить гетерогенные пласты, точнее говоря, — «очистить» материнский инстинкт от брачно-эротической примеси. Возвращая могучую прародительницу на стезю материнства, герой одновременно расколдовывает свою молодую невесту (Ганну, Параську, Оксану), освобождает ее от гнетущего влияния «старухи», которое в «Майской ночи» и особенно в «Вие» граничит с метемпсихозом.

Как видим, по своему характеру и по своим задачам основное испытание разительно отличается от карнавальная потасовки, поскольку в финале герою предстоит не битва с узурпатором, а свидание с отчужденной, двоящейся праматерью (отблеск враждебности падает даже на улыбчивую императрицу: «Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили?»; 1, 438). Чтобы убедительно заявить о правах на наследство, юноша должен показать себя преданным сыном, достойным преемником и, в перспективе, заботливым отцом. Соответственно, решающее значение приобретает теперь культурная память, запечатленная в песнях и сказаниях («Спой мне, молодой казак, какую-нибудь песню!» — просит русалка; 1, 131), в заветном слове (знание архаического, петровского лексикона — «губерния знатная!», «чудная пропорция!» — служит для Вакулы пропуском к царице) и в религиозных обрядах: в «Пропавшей грамоте», а также в «Ночи перед Рождеством» крестное знамение превратило демонического супостата в союзника или помощника. Стоит учесть, что «веру» в украинских повестях Гоголь трактовал не в метафизическом, а в культурологическом ключе, как интуитивную приверженность национальным традициям и ритуалам («Горелки даже не пьет! Экая пропасть! Мне кажется, <...> что он и в Господа

²² О притязаниях русалок, смутно угадываемых в «Майской ночи», более откровенно говорится в «Страшной мести»: «...она сгорела бы от любви, она зацеловала бы... Беги, крещеный человек! <...> она защекочет тебя и утащит в реку» (1, 210).

Христа не верует»; галушками «брезгать <...> нечего. Это христианское кушанье! Все святые люди и угодники Божии едали галушки»; 1, 193, 194). Помимо верности традициям, испытание выявляет родительский инстинкт молодого героя, его готовность заботиться о потомстве: отцовские чувства обнаруживаются у Вакулы, благоговейно созерцающего образ «пречистой девы с младенцем на руках», и у Левко, защитившего «цыплят» от хищного «ворона» (антитезу будущим отцам образуют детоубийцы: Петрусь в «Вечере накануне Ивана Купала», Петро и колдун в «Страшной мести»).

Итак, благополучная развязка в малороссийских повестях подразумевает главным образом не победу над силами зла, а упорядочивание связей и реинтеграцию звеньев в родовой цепи. Подобно эсхиливым Эриниям, ожесточившейся царице отводится почетное место покровительницы брака и деторождения. С другой стороны, эгоцентрическому отцу молодой протагонист, вернувшись, напоминает об общих корнях и о преемственности. Поэтому Вакула должен предстать своему будущему тестю в запорожском жупане, упомянуть о фамильном побратимстве²³ («Ты ж когда-то братался с покойным батком, вместе хлеб-соль ели»), а затем по доброй воле пройти своеобразную акколаду (троекратный удар нагайкой от Чуба с напутствием «старых людей всегда слушай!»; 1, 183). В «Майской ночи» Голова нехотя признает, что Левко, которого он доселе честил «собачьим сыном» и бесовским отродьем, достойно продолжает семейную традицию: как и сам Голова, который в молодости «удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером», бойкий юноша оказался лично знаком с комиссаром, т. е. причастен верховной власти; не обошлось и здесь без «казацкого» посвящения в рыцари («женю; только наперед попробуешь ты нагайки»; 1, 118, 134).

Менее завидна судьба тех, кто не отличает материнский инстинкт от брачного притязания, — тех, у кого к сыновней преданности примешался чувственный экстаз. В гоголевских повестях контаминация этих начал непременно грозит бедой.²⁴ Так, признав старшинство Оксаны («...ты у меня мать, и отец, и все, что ни есть дорогого на свете»; 1, 155), Вакула ступил на путь духовной и физической аннигиляции («...пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как звали!»; 1, 165) — на гибельный путь, который до конца был пройден Андрием, отождествившим панночку с государыней («Царица! <...> прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную...»; II, 103) и родиной («Кто сказал, что моя отчизна Украина? <...> Отчизна моя — ты!»; II, 106). По-видимому, экзамен на зрелость особенно трудно дается чувственным натурам, причем гегемония телесного начала может выражаться как в эротической одержимости (псарь Микитка, Андрий, Петрусь), так и в сибаритской привычке к комфорту (Хома Брут, Иван Иванович, Шпонька, Товстогубы). Вообще, эротомания у Гоголя сблизается с младенческим эгоизмом: младенец ведь тоже ищет телесной близости, сытости и тепла. В конечном счете инфантильный юноша или мужчина, рабски зависимый от телесных угод (даже таких безобидных, как понюшка табаку в «Вие» или жирный блин, сгубивший карьеру Шпоньки), капитулирует перед женским миром: блаженное младенческое бытие привлекает его больше, чем отцовство. Иначе говоря, несостоятельные женихи идут по стопам среднего поколения — самодостаточного и не заинтересованного в потомстве.

Отдельного внимания заслуживают механизмы катастрофической развязки в украинских повестях. Если для европейской романтической «готики» характерна фи-

²³ Как справедливо заметила Кардаш, брачный договор в «Вечерах» «способствует восстановлению благополучных „родовых“ отношений <...> В „Ночи перед Рождеством“ и „Сорочинской ярмарке“ он сопоставим с побратимством, ранее соединявшим отцов парубка и девушки». В свою очередь, «воссоздание забытого или разрушенного братского союза» подразумевает «избавление старшего персонажа от власти нечисти» (Кардаш Е. В. Образная структура... С. 15).

²⁴ В этом вопросе мы занимаем иную позицию, нежели С. А. Гончаров, для которого «любовный/супружеский союз и есть возвращение в лоно Божества, где объединяются <...> и Мать, и Отец, а возлюбленный превращается в их „невинного младенца“, что кладет конец его „гностическому „сиротству“, обусловленному утратой Матери (Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. С. 51). На наш взгляд, «искажения (сакральной модели. — Б. М.) в виде хаотического смещения и кровного инцеста», о которых пишет далее Гончаров (Там же. С. 51), являются не аберрацией, а закономерным следствием брачного «синкретизма».

нальная диссоциация героя, при которой зачарованного юношу поглощает демоническая праматерь, ассоциируемая, как правило, с земной и водной стихиями,²⁵ то у Гоголя роль женского божества ограничена экзаменацией.²⁶ В патриархальном мире украинских повестей потомка, который, подобно Ионе, уклонился от исполнения долга, призывает к ответу суровый праотец, ветхозаветный «ревизор». Какое бы обличье он ни принял — седого казацкого атамана, конного рыцаря, «начальника гномов», — финал будет неизменным: создатель («я тебя породил...») изымает жизненную искру, своего рода тюмос, которую он некогда вдохнул в свое творение.²⁷ Орудием убийства служит молниеносный, смертоносный взгляд (очевидны метафорические, а не только функциональные соответствия между спящим рыцарем в «Страшной мести», Виём и Тарасом, который парализовал и обескровил Андрия, «смотря прямо ему в очи»; II, 143). Спиритуальный, энергетический характер катастрофы подчеркнут тем, что гибель героя изображается как сотрясение, взрыв, за которым следует «сублимация» души: Хома «бездыханный грохнулся <...> на землю, и тут же вылетел дух из него от страха» (II, 217), Петрусь «задрожал как на плахе» (I, 109) — над пеплом, в который обратилась его плоть, подымается пар, той же логике подчинены гибель Микитки, убийство Андрия («затрясся всем телом» — «повис» головой; II, 143) и Данилы («зашатался козак» — «вылетела козацкая душа из дворянского тела»; I, 204). В народном сознании жизненная энергия, «искра» не считается индивидуальным достоянием и подлежит изъятию у того, кто не сумел ею распорядиться во благо своего рода.

Безусловно, специфика межпоколенческого конфликта в ранней гоголевской прозе требует дальнейшего изучения. В частности, за рамками настоящей статьи остались сложные случаи «близнечества» поколений в «мифологических» и контаминации поколений в «бытовых» повестях (ярчайшим примером которой служит сорокалетний «жених» Шпонька). Тем не менее даже предварительные выводы о границах конфликтных партий, о мотивации сторон, о динамике противоборства позволяют исследователю лучше очертить тот «спектр адекватности» в истолковании гоголевского нарратива, о котором говорил И. А. Есаулов,²⁸ и скорректировать некоторые привычные оценки. Во-первых, сюжетную динамику в «Вечерах» и «Миргороде» задает, как было показано выше, не конфликт стариков и молодых, а исторически обусловленная «самодостаточность» среднего поколения, уклоняющегося от участия в родовой

²⁵ Подобной катастрофой завершаются «Белокурый Экберт» и «Руненберг» Тика, «Фалунские рудники» Гофмана, «Осеннее колдовство» Эйхендорфа, «Венера Ильская» Мериме, «Ундины» Фуке, отдельные новеллы Эдгара По (например, «Падение дома Ашеров», «Продолговатый ящик», «Морелла»), возможность поглощения жениха вампирической праматерью подразумевается в гофмановском «Пустом доме» и «Вампиризме», в «Мраморном изваянии» Эйхендорфа, в «Любви мертвой красавицы» Готье, «Паоле» Буше де Перта и т. д.

²⁶ Поэтому нет причин абсолютизировать мотив *regressio in uteris*, бегства в материнскую утробу, как это делает, ссылаясь на идеи С. Эйзенштейна, В. А. Подорога (*Подорога В. А. Nature Morte*. С. 182). Также нуждается, на наш взгляд, в уточнении ключевой тезис Иваницкого (женщина-ведьма подчиняет у Гоголя мужчину «земле-праматери», «она „обволакивает“ мужчину собою и вовлекает его через брак в материнскую область олицетворенной земли» (*Иваницкий А. И. Гоголь*. С. 41)). По крайней мере, в ранних, украинских повестях этой участи избегают не только парубки, успешно сдавшие брачный экзамен (Грицко, Левко, Вакула, «дед» в «Пропавшей грамоте»), но и несостоятельные «женихи» (Хома, Андрий, колдун, а также, вероятно, Петрусь и псарь Микитка, впоследствии — Чартков): они не поглощаются материей, а напротив, выпускают дух от «молнийного» удара, нанесенного грозным пращуром. Даже в кошмарах Шпоньки присутствуют, наряду с умножающейся материей, мотивы сотрясения, удара и вознесения, ассоциируемые с мужчиной-иерархом (колокольник, полковник пехотного полка).

²⁷ По выражению Иваницкого, «лестница поколений предстает (у Гоголя. — Б. М.) как лестница сознаний. Душа каждого нисходящего колена — „тень“ предыдущего, которое и вдыхает в него жизнь, как в куклу» (*Иваницкий А. И. Гоголь*. С. 37). Полагаю, стоит оговориться, что Гоголь мыслил таковыми отношения пращуров и потомков, но не отцов и детей: между Тарасом и Андрием, сотником и Хомой, всадником и колдуном пролегла не только возрастная, поколенческая, но и стадильная граница.

²⁸ Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М., 1995. С. 10.

эволюции и противопоставленного в равной степени и праотцам, и потомкам. Вину за отпадение от рода Гоголь возлагает на эгоистичных «отцов», в то время как женам и матерям отведена страдательная роль: женская фуриозность мотивируется отлучением от материнства и, следовательно, признается аберрацией, а не метафизическим свойством пола.

Во-вторых, для осмысления конфликта в украинских повестях нет необходимости постулировать существование некоей злокозненной (демонической) внешней силы — «хтонически-инфернального мира», «инфернальной сферы <...> лжеродителей»,²⁹ «демонического антагониста», «заключившего в себе реальную и злую силу материи»,³⁰ наступающих на человека «античеловечных миров»,³¹ враждебных людям «подземных сил хаоса», которые «стремятся наполнить сферу человеческого нечеловеческим содержанием и тем самым разрушить и уничтожить ее». ³² Более обоснованной представляется позиция Манна, который отождествлял божественное в концепции Гоголя с закономерным, естественным, соответственно, «демоническое — это сверхъестественное, мир, выходящий из колеи». По мысли Манна, «Гоголь — особенно явственно к середине 30-х годов — воспринимает демоническое не как зло вообще, но как алогизм, как „беспорядок природы“». ³³ Крайне важно, на наш взгляд, помнить о том, что «беспорядок» у раннего Гоголя не онтологичен: он допускает лишь апофатическую трактовку и, как всякое ситуативное образование, подвержен распаду.

Наконец, непродуктивными представляются попытки истолковать гоголевскую коллизию в морально-психологическом ключе. Едва ли благополучная развязка в украинских повестях обусловлена «наличием в герое внутренней самобытности», подразумевающей «свой путь и свое нравственное пространство, которое не дает себя подавить». ³⁴ Очевидно, например, что не отсутствие «нравственного пространства» губит Данило, Катерину или Ивана (в «Страшной мести»), с другой стороны, не нравственностью и не внутренней самобытностью объясняются успехи Грицко или «деда» в «Пропавшей грамоте». Проблематичным мне видится и различие «добра» и «зла» по гендерному принципу, предложенное Гончаровым, который противопоставил «религиозно-идиллическое пространство матери» — «темному лону сурового инфернального отца». ³⁵ Постулируемая дихотомия «добра» и «зла», чуждая украинским повестям, приводит Вайскопфа к разочаровывающему выводу о том, что Гоголь «не смог решить» в раннем творчестве задачу «поляризации» потусторонних образов — «сакрального» и «демонического». ³⁶ Между тем «генетическая однородность черта и божества» ³⁷ не является, на наш взгляд, писательским огрехом. Как справедливо заметил Манн, стихийные силы у Гоголя опровергают «плоскую альтернативу добра и зла, а также рационалистическое понятие индивидуальной вины». ³⁸ Поскольку могущественных покойников (пращуров) заботит процветание рода, а не приватное счастье молодого жениха — постольку их «враждебность» или «союзность» (термины Вайскопфа) всецело определяется действиями просителя. Тот, кто воссоздал порядок, произведя сепарацию разнородных начал, удостоивается брака, как Левко; того, кто не справился с этой миссией, лишают жизни, как Хому или Андрия. Иными словами, вопрос о вине и расплате в украинских повестях решается не в синхроническом (моральном, общественном), а в диахроническом (родовом, историческом) измерении.

²⁹ Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. С. 45.

³⁰ Вайскопф М. Я. Сюжет Гоголя. С. 132.

³¹ Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Кн. для учителя. М., 1988. С. 16.

³² Кривонос В. III. Гоголь: Проблемы творчества и интерпретации. М., 2015. С. 19, 21.

³³ Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. С. 79.

³⁴ Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. С. 16.

³⁵ Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. С. 51.

³⁶ Вайскопф М. Я. Сюжет Гоголя. С. 383.

³⁷ Там же. С. 384.

³⁸ Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. С. 54.